

*Ирина Верехтина*

12+

**ДЛИННОЕ ЛЕТО**

# Ирина Верехтина

## Длинное лето

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=39154010](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39154010)*

*SelfPub; 2020*

### Аннотация

Время действия – девяностые годы, место действия – садово-дачное товарищество. Повесть о детях и их родителях, о дружбе и ненависти. О поступках, за которые приходится платить. Мир детства и мир взрослых обладают силой притяжения, как планеты. И как планеты, никогда не соприкасаются орбитами. Но иногда это случается, и тогда рушатся миры, гаснут чьи-то солнца, рассыпаются в осколки детское безграничное доверие, детская святая искренность и бескорыстная, беспредельная любовь. Для обложки использован фрагмент бесплатных обоев на рабочий стол.

# Содержание

Часть 1. Девочки-русалочки	4
Глава 1. Дурочка	4
Глава 2. Ничейная картошка	18
Глава 3. Пилипенки	33
Глава 4. Марька	48
Глава 5. Исполнение желаний	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Часть 1. Девочки-русалочки

## Глава 1. Дурочка

В тот день они возвращались с озера, куда их троих, после клятвенных заверений, что они не перегреются на солнце и не получат тепловой удар, не будут нырять и не утонут, отпустили одних, без сопровождения взрослых – четырнадцатилетнюю Аню, одиннадцатилетнюю Розу и восьмилетнюю Аллочку, которая не умела плавать, и бабушка наказала ей не заходить в воду глубже колен и «играться на бережку». Аллочка смотрела на бабушку честными глазами и послушно кивала головой. Но как только увидела пляж, поросший луговым клевером, и прохладную гладь озера, в которой отражались облака, бабушкины наставления вылетели из Аллочкиной головы, как испуганные утки из прибрежных камышей.

Аллочка заходила в воду по самый подбородок и бродила по твёрдому песчаному дну, воображая себя русалкой. Ходить по шею в воде получалось плохо: вода была ощутимо упругой, дно неожиданно уходило из-под ног, Аллочка пугалась и начинала плакать. Аня брала её за руку и выводила на берег. Сидя на траве и размазывая по щекам слёзы, Алла наблюдала за Розой, которая резвилась в воде как дель-

фин, вытворяя немислимые трюки. Постепенно Аллочкны рыдания переходили в тихие всхлипы. Она забывала о своих страхах, радостно плюхалась в воду... и всё повторялось сначала.

Аллочка была глупенькой и училась в специальной коррекционной школе-интернате для умственно отсталых детей (в просторечии – в школе для дураков). Летом Аллу с бабушкой отправляли на дачу, чтобы не видеть сочувственных взглядов соседей и не выслушивать «доброжелательных» советов.

Визиты Аллочкиных родителей были скорее деловыми, нежели родственными: они привозили продукты и чистое постельное бельё, забирали вещи, которые нуждались в стирке, и традиционно осведомлялись о здоровье любимого чада, которое, засунув в рот большой палец, молчаливо взирало на родителей в ожидании подарков. Подарки были всегда одни и те же – леденцовые петушки на палочке, жестяные круглые коробочки с монпансье, которые Алла называла монпасье, и мятные пряники, от которых в животе делается холодно.

Когда сумки были распакованы, а холодильник забит продуктами, взрослые садились чаёвничать и вели скучные длинные разговоры. Алла не слушала – о чём. Запихав за щёку леденец, устраивалась под столом на широкой деревянной перекладине и корпела над книжками-раскрасками, высунав от старания язык, пёстрый от облизываемых попере-

менно с леденцом карандашей.

Напившись чаю, родители извлекали дочь из-под стола и, к неудовольствию последней, усаживали за букварь. Восемилетняя Алла (впрочем, через два месяца, в августе 1996-го, ей исполнится девять, чем она страшно гордилась) умела считать до двадцати, читала наизусть выученные с бабушкой стихи, знала цвета радуги и различала геометрические фигуры. Но запоминать буквы у неё не получалось. Их много, разве все запомнишь?

Пытка букварём длилась целый час. Алла вертелась на стуле, хмурила светлые бровки и ныла – что у неё устала голова, что ей надо в туалет, просила пить... Но хитрые уловки не помогали. Девочке терпеливо и настойчиво показывали буквы и заставляли складывать из них слова.

– Ну, давай, дочка, вспоминай, ты же умница у нас. Покажи папе, где «м», где «а», где «к». Правильно! А это какая буква? Не знаешь? Как же так, мы же в прошлый раз учили, и бабушка с тобой всю неделю занималась. Занималась ведь?

Анна Дмитриевна торопливо кивала и отворачивалась, осуждающе поджимая губы. Чего зря ребёнка мучить, всё равно не понимает, вот и пусть её учителя в школе учат, коррекционной, сразу и не выговоришь. Что за родители такие, дитя им родного не жалко! Как ни приедут, до слёз доведут. За учебники засадят и мучают целый час, даром что у ребёнка каникулы...

– Это «а». Это «бэ». Это «кэ». – Алла страдальчески мор-

щила белёсые бровки, послушно водя пальчиком по буквам и разглядывая картинки, виденные ею сто раз и изрядно надоевшие. Полосатый арбуз, который хотелось немедленно разрезать и съесть. Румяная буханка, какие продавались в поселковом магазине. Расписная красивая тарелка – у них дома тарелки другие, не такие, а на даче вместо тарелок эмалированные миски. Алле нравились миски. И деревянные ложки, которыми они с бабушкой ели суп, ей тоже нравились. А в букваре – ложка обыкновенная, железная.

Под картинками стояли буквы: «а» – под арбузом (бабушка говорила – гарбуз, с мягким украинским «гэ»), «с» – под веревочкой с пластмассовыми ручками, у Аллы была такая, бабушка говорила – прыгалка, а мама называла верёвочку скакалкой. Алла могла бы ей возразить, что скачут на одной ножке, а через прыгалку прыгают. Но никогда не возражала, потому что мама сердилась на бабушку, а папа хлопал себя ладонями по коленям и смеялся, и тогда мама, оставив в покое бабушку, начинала ругаться с папой... Ой, нет, лучше молчать!

И совсем уж непонятная буква «х» красовалась под буханкой, которая – на букву «б». Алла не понимала, почему. – «Не понимаешь, учи наизусть!» – говорили родители. Алле не хотелось – учить. Она обиженно хлопала носом и растирала по щекам слёзы (иногда это помогало, и Аллу отпускали восвояси). С памятью у неё был порядок. За хлебом они с бабушкой ходили в поселковый магазин, за километр от са-

дового товарищества. – «Нам два батона и две буханки черного». – говорила продавщице бабушка. Батоны пухлые, румяные, вкусно пахнущие. Но Алле больше нравилась буханка – коричневый кирпичик с хрустящей корочкой, которую бабушка разрешала отщипывать, и всю обратную дорогу Алла жевала.

Буханка в букваре была совсем как настоящая, с коричневой поджаристой корочкой. При чём тут буква «х»? – «А ты подумай!» – предлагали родители. Аллочка, не любившая думать, сдвигала светлые бровки и вздыхала. Тут и думать нечего, буханка и батон – на букву «б», а папа с мамой твердят как заведённые: «Это буква хэ». Сговорились они, что ли?

Потеряв терпение, отец в сердцах отвечивал ей подзатыльник и бормоча «бестолочь, учиться ничему не хочет, ей всыпать надо как следует, а мы пряники возим», швырял букварь на стол и раздражённым голосом, в котором сквозили просительные нотки, объявлял жене:

– Поехали уже домой! Собирайся. Хватит с ней миндальничать, избаловали девчонку, ни в чём отказа нет, а толку никакого.

Мать наспех целовала зарёванную Аллу и, взяв с неё обещание слушаться бабушку и прилежно заниматься, садилась в машину с чувством исполненного родительского долга. Шурша по гравию на букву «г» колёсами на букву «к», золотисто-зелёный «шевроле» выезжал за ворота на букву «в».

Алла бормотала буквы, всхлипывая от незаслуженной обиды. Она не бестолковая, и буквы знает, почти все, и читает по складам, когда её не заставляют и не стоят над душой. А когда приезжают родители и устраивают «допрос с пристрастием», Алла пугается и всё забывает.

Бабушка, махнув на прощанье рукой, осеняла «шевроле» размашистым крестом, запирала ворота и вздыхала с облегчением. Слёзы на Аллочкиных щеках мгновенно высыхали: уехали, и хорошо. Им с бабушкой хорошо и без них.

Всю неделю Алла скучала – не по родителям, а по книжкам-раскраскам и пряникам. Ей вполне хватало бабушкиной любви и леденцов. А ещё «киндер-сюрпризов», которые девочка бросала на землю и, раздавив ногой, извлекала из-под шоколадных обломков вожаделенные игрушки. Шоколадные «скорлупки» она закапывала на грядках.

Анна Дмитриевна обожала единственную внучку и в отсутствие родителей тщательно следила за тем, чтобы девочка была нарядно одета, причёсана, накормлена, и не уходила со двора. Играть ей разрешалось только с Розой Бариноковой, с которой у них был общий забор: у Бариноковых тридцать четвёртый участок, у Петраковых – тридцать третий. Алла приходила к Бариноковым сразу после завтрака и оставалась до обеда. Уже через пять минут она начинала плакать и жаловаться Эмилии Францевне, бабушке Розы, которая всегда принимала Аллочкину сторону: «Она маленькая, а ты большая, могла бы уступить», – укоряла Розу бабушка. Отчиты-

вала, будто она, Роза, виновата.

– Она сама упала, я её не толкала, даже догнать не успела, а она шлёпнулась!

– Тебя послушать, ты всегда ни при чём. А девочка ушиблась, ей больно. Видишь, плачет?

– Да она всё время плачет. И падает всё время, а я...

– А ты не бегай как оглашенная. Идите лучше в дом, в шашки поиграйте, – говорила бабушка. Роза со вздохом брала подружку за руку и плелась наверх, не понимая, почему надо сидеть в комнате и играть в шашки, если хочется бегать и беситься. Избавиться от Аллочки не получалось, и не найдя сочувствия у бабушки, Роза пожаловалась матери.

– Мам, эта Аллочка каждый день к нам ходит. Скажи бабушке, чтобы больше её не пускала. Мне с ней скучно.

– А помнишь, как ты плакала, когда Катя с Юлей не хотели с тобой играть? Им тоже было с тобой скучно. Помнишь, сколько было слёз?

Роза помнила. Это были её первые каникулы на даче, и она изводилась одиночеством, не зная чем заняться. Ко всем её терзаниям добавились тринадцатилетние Катя и Юля, жившие через дорогу от них, в доме напротив. Эти двое не принимали её в свои игры: им было по тринадцать, а Розе десять. В детстве три года это целая жизнь. – «Иди в песочницу, куличики лепить. Иди к своей бабушке, она тебе памперс поменяет» – издевались вредные девчонки.

Глотая слёзы, Роза уходила в дом и поднявшись наверх, в

свою комнату, сядила у окна. Со второго этажа Юлин двор был виден как на ладони, и девочка подолгу смотрела, как Юля с Катей играли в бадминтон – белый волан неумолимо летал от ракетки к ракетке. Как взмывал в высокое небо полосатый мяч – и звонко шлёпался в подставленные ладони. Как ритмично хлопала по земле привязанная к столбу верёвка, через которую Юля с Катей прыгали по очереди – одна крутила верёвку, а другая прыгала. А могли бы втроем, если бы эти двое пригласили её играть вместе с ними. Но они не приглашали.

Бадминтон у Розы был, и мячик был, и летающие тарелки. В эти игры играют вдвоём, а она одна. С ней не хотят играть. С ней даже разговаривать не хотят.

По вечерам Розу ждала новая пытка: Юля и Катя играли в карты, громко шлёпая ими по деревянной столешнице. В открытое окно доносились их радостные вопли: «Что, получила? Получила?» – «Да щас! У меня козырная дама!» — «Ой, напугала... Ой, держите меня четверо! У тебя дама, а у меня туз!». Немилосердно жульничая и обвиняя друг друга в нечестной игре, девчонки ссорились по нескольку раз за вечер, и снова мирились и хохотали до изнеможения. Проигравшему отвечивали по лбу звонкие щелчки, сопровождаемые притворными стонами и заливистым смехом.

С тяжелым вздохом девочка закрывала окно и, нацепив наушники плеера, сядила за вышивание. Плеер ей подарил отец, за отличные оценки в школе, а вышивать научила мама.

Вышивать хорошо в дождливый день, когда нельзя гулять и нечем больше заняться. А когда на улице солнечно и тепло, а друзей нет, не идти же ей гулять одной?

Вышивание помогало не думать о том, как хорошо этим двоим, помогало не слушать их смех, прогнать из своей комнаты чужое веселье, от которого к горлу подступали слёзы обиды. Если бы бабушка знала о её мучениях, она бы непременно что-нибудь придумала. Но папа говорил, что жаловаться некрасиво, это дурная привычка. И Эмилия Францевна ни о чем не догадывалась. Если девочка сидит весь день за пяльцами, значит, ей это нравится. Никто её не заставляет, сама захотела.

Эмилия Францевна редко поднималась на второй этаж, в комнату внучки, куда вела винтовая лестница (während du stehst, verrückt, пока дойдёшь, с ума сойдёшь). Зато мама делала это регулярно. «Если хоть раз я увижу грязь и беспорядок, с комнатой можешь попрощаться. Будешь спать с бабушкой» – мамины слова не были пустой угрозой, Роза об этом знала и содержала комнату в образцовом порядке – куклы в корзинке, книжки на этажерке, пол чисто выметен, платья висят на распялках, майки и шорты аккуратно сложены и убраны в комод). Она была воспитана в строгости, на замечания родителей реагировала с первого раза, ей никогда не требовалось повторять.

Впрочем, замечания девочке делали редко. Папа с мамой приезжали в субботу и сразу после завтрака уезжали в Сер-

гиев Посад. Розе очень хотелось поехать с ними, но её каждый раз оставляли дома, и приходилось ждать до вечера. С рынка привозили парную телятину и баранину, домашний творог, молоко, масло.

Зато в воскресенье родители безраздельно принадлежали Розе – весь этот длинный, счастливый день. С мамой они сажали цветы, с папой поливали из шланга парники, хохоча и брызгаясь. – «Чермен, поливать надо грядки, а не ребёнка! Она же вся мокрая, хоть выжимай, да и ты тоже... Прекратили этот цирк и марш переодеваться, оба!» – мамин тон не допускал возражений. Чермен с Розой послушно «прекращали цирк» и отправлялись переодеваться, мокрые и счастливые. После обеда все трое садились в машину и уезжали на Торбево озеро, где оставались до позднего вечера. Забыв о своих горестях, Роза играла с папой в бадминтон и летающие тарелки, собирала сосновые шишки, которыми они кидались, как снежками. Шишки довольно чувствительная штука, если летят в тебя с размаху, и приходилось уворачиваться.

Наплававшись до изнеможения, Роза валилась на песок и, болтая в воздухе ногами, читала привезённую отцом книжку – её любимую фантастику или приключения. Отец отбирал у неё книжку со словами: «Что ж ты такая жестокая, дочь? Мы с мамой всю неделю тебя не видели, а ты смотреть на нас не хочешь, в книжку уткнулась... Будешь читать, когда уедем. Обещаешь?».

– Обещаю!

– Это не ответ. Что ты мне обещаешь?

– Обещаю, что буду читать... то есть, не буду... – путаясь в словах, заверяла отца Роза. Да и как не путаться, когда ты висишь вверх тормашками, с книжкой в руках, над головой песок, под ногами небо, а отец крепко держит тебя за щиколотки и хохочет: «Попалась, попалась!» – «Ну, пап! Отпусти!» – «Отпущу, если крикнешь три раза «куд-кудах-тах-тах!» – «Ну, пап! Только ты не смейся, а то у меня не получится» – «Чермен, прекрати! Что вы здесь цирк устроили, люди же смотрят!»

На них смотрели и улыбались. И немного завидовали...

Отец был неистощим на выдумки, с ним можно было всласть повозиться, поиграть в любимые игры, доверить любой секрет, зная, что он никому его не выдаст, даже маме. К вечеру девочка валилась с ног от беготни и шалостей, за которые её не ругали: отец не позволял. Чермен на руках относил её наверх, в детскую, оклеенную бледно-зелёными обоями с белыми лилиями на изумрудных стеблях и золотыми рыбками. Обои были с секретом: если плотно задёрнуть шторы, рыбки светились в темноте. Уложив девочку в постель, Чермен заботливо подвёртывал ей одеяло конвертиком и долго смотрел на спящую дочь.

Роза не рассказывала о своих горестях (в их семье не принято было жаловаться отцу), и Чермен не знал, как она скулит, лишённая общения со сверстниками. Она встречала отца с улыбкой, провожала с улыбкой, засыпала с улыбкой.

Но однажды, заждавшись девочку к ужину, Эмилия Францевна, преодолевая боль в колене, поднялась к ней в комнату – и застала внучку с прижатым к стеклу носом и вздрагивающими от рыданий плечами.

– Was ist Los? Was passierte? Wer hat dir wehgetan? (немецк.: что такое? Что случилось? Кто тебя обидел?) – когда бабушка пугалась или сердилась, она переходила на немецкий. – Was sind deine Tränen, wovon du weinst? (немецк.: о чём твои слёзы, о чём ты плачешь?)

– Ничего не случи-и-илось... – захлёбываясь от слёз, проговорила Роза. – Никто не оби-и-идел. Говори по-русски, ба.

– А это обязательно – замечания делать бабушке? Отец бы не одобрил. Нун, гут. Ладно. Не обидели, и ладно. А чего тогда ревьешь?

– Юлька с Катькой в карты играют, я тоже хочу, а они меня не принима-аают...

– Из-за такой ерунды плакать... Что у нас, карт нет?

– Не-еет.

– А нет, так пойдём и купим! Не плачь, meine süße! (немецк.: моя сладкая)

– Да-аа, купим... А с кем я буду играть? Мне не-ее с ке-еем...

– А мы сейчас папе позвоним, он купит и в субботу привезёт, и будем с тобой играть. Что ж ты мне раньше не сказала, dein dummer Kopf! (немецк.: глупая твоя голова!) Беги, носи телефон!

– Ничего я не глупая. Это Аллочка глупая. А ты в карты умеешь?

– А чего ж не уметь? Я много игр знаю, и пасьянсы умею раскладывать, и тебя научу.

Чермен привёз две колоды игральных карт с одинаковыми «рубашками» – «На случай, если потеряете» – пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Эмилии Францевны. Вечера стали для Розы любимым временем суток. По совету отца, они с бабушкой играли двумя колодами сразу – в подкидного дурака, в пьяницу, в макаронину. От детских игр перешли к взрослым. Под руководством Эмилии Францевны Роза неплохо освоила покер, вист и кинг (вдвоём играли за четверых, а куда денешься, не приглашать же соседей?!) Юля с Катей были забыты. А потом Роза познакомилась с Аней и навсегда забыла об одиночестве.

И теперь умоляла маму избавить её от надоедной Аллочки, которая не знала никаких игр, кроме «салочек», без конца падала и всё время хотела есть. Инга объяснила дочери, что бесконтрольный аппетит называется булимией. Она никогда не упускала случая пополнить дочкин словарный запас, и в свои десять лет девочка знала многое.

– Как ты можешь жевать весь день, не переставая? Это у тебя булимия, – авторитетно заявила Роза, окинув взглядом пухлые Аллочкины щёки. В ответ Алла улыбнулась:

– Булички я люблю, мне бабушка печёт, с повидлой.

Не с повидлой, а с повидлом, подумала Роза, но ничего не

сказала. Что тут скажешь...

Инга Августовна была другого мнения.

– Вспомни, как ты плакала, когда с тобой не хотели играть. Вот и Аллочка будет плакать. Ты говорила, что Катя с Юлей плохие девочки, а теперь сама хочешь стать такой же. Жестокой и бессердечной.

– Ма! Она же глупая, и обжора, и плачет всё время. Мне с ней неинтересно, – оправдывалась Роза, чувствуя себя виноватой. Когда о чём-то просишь, всегда оказываешься виноватой, поняла вдруг Роза. И замолчала.

– А ты подумай хорошенько, с кем ей играть? Ей скучно одной, а уходить далеко от дома ей не разрешают, только к нам. И смотри у меня, не вздумай её прогнать. Я бабушке скажу, чтобы она за тобой последила. А что плачет – так не обижай её, и она не будет плакать, – добивала девочку мать. Роза молчала, понимая, что мама права и дурочку придётся терпеть до конца лета. Ничего. Мама завтра уедет, а с бабушкой она как-нибудь договорится. Бабушка скажет Алле, что у Розы опасный грипп, от которого температура, и нельзя мороженое, и можно умереть.

Роза представила перепуганную Аллочку, которая мчится со всех ног к своей калитке, и счастливо рассмеялась.

## Глава 2. Ничейная картошка

На озере дурочка вела себя на удивление прилично. В Аллочкиных восхищённых глазах Роза видела себя королевой: из всех троих она одна умела плавать баттерфляем (баттерфляй, или дельфин, считается наиболее технически сложным и утомительным способом плавания). Ещё она умела прыгать с пятиметровой вышки, но вышки на озере не было. Зато были камыши и водоросли, из которых они, насобирав целую кучу, смастерили русалочки платья и танцевали в них на берегу. А потом устроили конкурс на лучший костюм. Победила Аллочка, которой Аня вплела в косы длинные ленты водорослей, отчего волосы стали зелёными. Юбочка тоже была из водорослей, и развевалась на ветру, открывая загорелые ножки. Зелёные браслеты на тонких щиколотках довершали наряд.

Болотные (по определению Розы) глаза Аллочки сияли зелёными колдовскими огнями, загорелые руки в зелёных «браслетах» приковывали взгляд. Роза потихоньку дулась: ей было обидно, что триумф достался Алле. В довершение ко всему, девочку в странном наряде заметили отдыхающие на озере дачники. Они восхищались на все лады, называли Аллу девочкой-русалочкой и просили разрешения с ней сфотографироваться. Алла пришла в неистовый восторг, улыбалась до ушей, принимала красивые, по её мнению, по-

зы, с удовольствием выслушивала комплименты и обнимала чужих дяденек и тётенок за потные, красные от жары шеи. Роза обиделась по-настоящему. Но долго злиться у неё не получалось, и Алла была прощена.

Они долго играли в мяч на мелководе, вылезали из воды посиневшие от холода, с хохотом падали на траву, греться, и через пять минут снова бросались в воду. Принесённые из дома бутерброды исчезли сами собой, компот был выпит, фляжка с водой опустела, а небо затянуло облаками. Ветер стал холоднее, купаться больше не хотелось. Алла ныла и просилась домой. И зачем только они её взяли!

Аня с тревогой посмотрела на часы: отец велел ей быть дома не позже семи часов вечера, никакие оправдания не принимались, а наказание было суровым: «До субботы со двора ни ногой, а там посмотрим». Сидеть всю неделю на участке и не выходить за калитку – хуже не придумаешь, так что Аня никогда не опаздывала к ужину. Но ужин ещё не скоро, а до дома идти далеко – через поле, потом через луг, потом будет ещё одно поле, пшеничное, а за ним уже СНТ (садовое некоммерческое товарищество) «Красная калина», которое Анин отец называл почему-то санаторием забытых товарищей. Девочки сняли сандалии и шли босиком, загребая ногами тёплую пыль. Аня придумала – плести венки. Алла немедленно перестала хныкать и начала канючить: «Чур, я первая, мне самый красивый! Ань! Ладно? Я первая, а Розе потом сплетёшь, ладно?». Роза надулась и замолчала. Ей то-

же хотелось венков.

Втроём набрали целую охапку ромашек, и Аня показала девочкам, как плести венки. Алла и Роза, сопя от усердия, погрузились в работу. Аллочка придумала вплетать вперемежку с цветами траву с пушистыми метёлками соцветий, и Роза надулась: у дурочки венков вышло куда лучше, чем у неё.

Все трое уже порядком устали. Солнце палило нещадно, густая трава цеплялась за ноги, а тропинка не кончалась. И неожиданно упёрлась в знакомую изгородь. «Красная калина» – значилось на калитке. Ура! Пришли!

Идти по дороге было легко, и все трое воспрянули духом. – А давайте не по нашей улице, давайте в обход! – предложила Аня, взглянув на часы: до ужина два часа, торопиться некуда. – Давайте вдоль леса пойдём, мы по той стороне не ходили ни разу, вот и посмотрим...

Анино предложение было принято Аллочкой с восторгом. Роза молчала: их двое, а она одна, а папа говорил, что побеждает большинство. А ещё он говорил, что сила – в единении, что даже малочисленный народ, если он дружный и сплочённый, заставит врага отступить. А разве они враги? Разве Аня с Аллочкой – враги? Они её подруги, а значит, им троим надо быть сплочёнными – всегда и во всём. Размышляя таким образом, Роза со вздохом плелась за «большинством» – по дороге, огибавшей широкой дугой территорию садового товарищества. Аллочка бежала впереди, радостно подпрыгивая. Вот притворщица, а говорила, что устала, – злилась

Роза, которой хотелось есть и пить, а в голове звенело, будто там стрекотала тысяча кузнечиков. Вечно эта Анька что-нибудь придумает! Зря Роза согласилась, надо было идти домой. Дом у них кирпичный, в комнатах прохладно даже в жару. А бабушка сварила её любимый компот из вишен, собрала в теплице пупырчатых хрустящих огурчиков, нажарила душистых, маслено блестящих оладий ...

Бабушка её ждёт, а она, Роза, идёт неизвестно куда по дороге, вдоль густого черемушника, в котором перекликаются невидимые птицы (птицам хорошо, они у себя дома), мимо заборов, за которыми радостно лают чьи-то собаки, раскачиваются на веревочных качелях чьи-то дети, и кто-то их зовёт притворно-сурово: «Мишутка! Леночка! Обедать! Сколько раз вам говорить? Холодное будете есть, греть не буду».

Роза бы сейчас не отказалась от обеда. Даже от холодного.

Между дорогой и общей изгородью тянулась неширокая полоса земли, заросшая пышными черёмухами и колючим боярышником. В одном месте кусты боярышника были аккуратно спилены, образуя узкий проём, за которым виднелись картофельные рядки. Алла кошкой нырнула в проём и восторженно оттуда заорала:

– Картошка! Ничейная! Выкопаем и бабушке отнесём!

Вот она обрадуется!

– А вдруг она чья-то? – испугалась Роза.

– Она на ничейной земле растёт, значит, ничья! – упорствовала Аллочка. – зацвела уже. Там уже картошечки ма-

ленькие выросли! А давайте накопаем, в костре испечём и съедим! Вон черемуха сухая, веток наломаем, будут дрова! Мы с бабушкой пекли, я умею. Чего испугались-то? Здесь же не живёт никто, вон калитка на замке. Никто нас не увидит, никто не узнает, – убеждала подруг Аллочка, у которой неожиданно обнаружился дар красноречия.

Дурочка, а соображает лучше всех, подумала Роза.

Повиснув животом на чужом заборе и дрыгая ногами, чтобы удержать равновесие, Аллочка со знанием дела провела рекогносцировку местности (прим.: разведка территории для получения сведений о противнике перед предстоящими боевыми действиями). Участок напротив полянки не внушал опасений: во дворе никого, грядки выполоты, деревья побелены, дорожки посыпаны желтым песком, окна наглухо занавешены шторами. Форточка на втором этаже была открыта, тюлевая занавеска трепыхалась под ветром, хозяева уехали и забыли закрыть. И теперь приедут только в пятницу, она знает точно в воскресенье вечером все уезжают, потому что им надо на работу. А сегодня понедельник.

Доложив обстановку, Алла слезла с забора и повторила ту же операцию с соседним участком, который, к радости девочек, оказался нежилым: двор зарос крапивой и лебедой, к одинокому сараю из серого горбыля подступал вплотную густой подлесок, который новому хозяину придётся корчевать. На калитке висело объявление: «Продаю». Кто же его купит, подумала Аллочка. Она неплохо соображала для своих вось-

ми лет, и хитрила, притворяясь тупой, чтобы её жалели, покупали леденцы на палочке и поменьше мучили букварём, который Алла тихо ненавидела.

– А зачем Алкиной бабушке отдавать? Вдруг она не поверит, что картошка ничья? Ещё ругать нас будет... Мы лучше сами испечём и съедим. Так есть хочется, – призналась Аня, и Роза непонимающе на неё посмотрела.

– А чего ж ты домой не идёшь? Пообедаешь и выйдешь.

Аня покачала головой, отказываясь.

– Тебе что, дома обедать не дадут?

– Дадут. Только гулять уже не отпустят, – вздохнула Аня.

– Почему? – Роза вскинула на неё глаза, и Аня в который раз удивилась, какие они чёрные, как ночь, с оттенком узбекской спелой черешни. Хотя Роза никакая не узбечка, мама у неё русская, а папа черкес, Чермен Бариноков. На него в садовом товариществе заглядывались все женщины и девчонки, хотя сам он ни на кого не смотрел и ни с кем не общался. Ане тоже нравился белозубый чернобородый Чермен, словно сошедший со страниц лермонтовской «Бэллы», и она со страхом думала, что сказал бы отец, если бы он об этом узнал.

Бездонные глаза Чермена Баринокова смотрели на Аню и ждали ответа.

– Ну, так... – пробормотала Аня. – Аглая с утра в город уехала, с первым автобусом. Я ей сказала, что буду вышивать, а на озеро пойду после обеда. На весь день она бы не

отпустила. Она, наверное, уже приехала, а я почти ничего не сделала, кувшин только вышила, – захлёбываясь словами, тараторила Аня. – Она увидит и обо всём догадается. И скажет папе, что я обманщица... – упавшим голосом закончила Аня.

Черешневые глаза от удивления раскрылись ещё шире (хотя казалось, шире уже некуда) – так что на Розином лице не осталось свободного места. А удивляться было чему. На прогулку Аня взяла с собой вышивание в пяльцах. Рисунок – иллюстрация к басне Крылова «Лиса и журавль» – был наметен на ткани серыми крестиками. Журавль и лиса выглядели серыми привидениями – рядом с узкогорлым кувшином, над которым Аня трудилась весь день и успела закончить. Кувшин был вышит зелёным шелком, в котором переливались все оттенки зелёного (названия значились на деревянных палочках, на которые были намотаны нитки). – «Это малахитовый, это аквамаринный, тёмный пастельно-зелёный, бледно-зелёный, зелёно-морской, цвета зелёного мха, а этот – цвета зелёной мяты...» – объясняла Аня.

– Я и не знала, что бывают такие цвета, – восхитилась Роза.

– Я тоже не знала, пока мне этот набор не подарили, – призналась Аня.

– Ничего-то вы не знаете! – Аллочка выхватила из Аниных рук пяльцы и осторожно погладила вышитый кувшин. – Как настоящий! У нас дома такой, китайский. Мама трогать

не разрешает, он дорогой потому что. Ань, а откуда ты знаешь про мамин кувшин, ты же у нас никогда не была?

– Я всё про тебя знаю, – Аня забрала у неё пяльцы. – У тебя руки грязные, не трогай. Аглая ругаться будет, что мало сделала, а за грязь и подавно.

– Мало сделала?! Ты же весь день над ним сидела...

Вместо ответа Аня неопределенно пожала плечами. Оттого что она сказала «Аглая» вместо привычного «мама» у Розы пропало желание задавать вопросы. Она оглянулась в поисках исчезнувшей Аллочки.

– Эй! Ты где? Я тебя не вижу!

– Я здесь! Тут грядки вдоль забора, длинные-длинные, на целый километр. Их с дороги не видно, за черёмухами, – рассказывала Аллочка. Из картофельных рядков она выползла на четвереньках, со счастливой улыбкой на выпачканном землёй лице, держа в обеих руках выдернутые с ботвой картофельные клубни – розовые, словно светящиеся изнутри. Клубни были величиной с голубиное яйцо, и Роза ахнула.

– Она же маленькая, она не выросла ещё!

– Ничего не маленькая, на ней цветочки уже, – Алла сунула Розе в лицо вырванную ботву с мелкими белыми цветками.

– С цветами нельзя рвать. Бабушка говорит, картошку в сентябре копают, когда отцветёт!

– Ну и иди к своей бабушке, а мы будем копать, и костёр разведём, – распорядилась Алла. Розе не хотелось уходить,

но копать картошку она отказалась наотрез.

– Кто копать не будет, тому печёной не дадим! – выдвинула угрозу Алла.

– Ну и не надо. Мне папа напечёт, мы осенью всегда картошку печём.

– Ну и иди к своему папе!

– Ну и пойду. А картошку копать не буду, и тебе не дам! – не отступалась Роза.

– Ну и иди, чего стоишь? А я всё равно буду копать! А ты иди, бабушке расскажи. Ябеда!

– Сама ты ябеда. Забыла, как ты моей бабушке на меня жаловалась? – Роза обернула к Ане красное от негодования лицо. – Придёт к нам с самого утра, и не выгонишь. Со мной играет и на меня же жалуется.

– У нас спичек нет, – Аня дипломатично сменила тему разговора. – И соли тоже нет.

– Есть! – Алла сунула руку в карман сарафанчика и победно помахала перед лицом Ани спичечным коробком. – А соль я из дома принесу, я сбегая, я быстро, – искушала подружек Аллочка, которой очень хотелось есть, а домой идти не хотелось: бабушка накормит обедом и засадит за букварь, а потом заставит вышивать крестиком вафельное полотенце, которое Алла подарит учительнице, первого сентября. На полотенце было жалко смотреть: всё измятое, словно изжёванное, с торчащими там и сям хвостиками выдранных «с мясом» ниток и криво вышитыми крестиками. Алла корпит

над ним всё лето, а полотенце никак не кончается. Нет, до- мой ей идти нельзя.

– Можно картошку в золу макать, она солёная, я пробовала! – безапелляционно заявила Алла, и Роза в который раз удивилась – глупая Аллочка оказалась умнее всех, и спички у неё нашлись, и с золой неплохо придумала.

– Пойдёмте отсюда. Алка, вылезай! И картошку не трогай. Не сама же она выросла, кто-то же её сажил. То есть, посадил. Посадили... – запуталась Роза.

– Посадили и забыли. Понатыкали как зря, даже не окучили ни разу, и грядки наперекось, не как у людей... – копируя бабушку, ворчала Алла. Аня не выдержала и прыснула.

– Ал, ты прямо как бабка старая! Давайте уже копать, картошка сама из земли не вылезет. А что мелкая, это даже хорошо. Быстрее испечётся.

Окончательно убедившись, что на ближних участках никого нет, девочки с увлечением ломали сухие ветки, складывая их «колодцем» и с опаской поглядывая на дорогу. Впрочем, опасаться было нечего: все разъехались и приедут только в пятницу. И Розин папа приедет... И Роза расскажет ему о картошке, которую копали Аня с Аллой, а она, Роза, стояла и смотрела... Папа за такое не похвалит.

Отец был для Розы всевидящим богом и закадычным другом, строгим учителем и беспечным товарищем по играм. Ему можно было доверить любую тайну, рассказать обо всём на свете. Девочка ждала отца всю неделю, и трудно сказать,

кто из них двоих сильнее скучал. К неудовольствию Эмили Францевны, Чермен обучал дочку корейскому тхэквондо, справедливо решив, что маленький рост и хрупкое телосложение следует компенсировать сильными ногами.

Тренировал серьёзно, полтора часа без перерыва, до полной усталости. Когда девочка уже не стояла на ногах, Чермен хватал её в охапку и тащил в душ, не слушая протестов и ловко уворачиваясь от брыкающихся ног. Стоя под обжигающими колючим холодом струями, Роза изо всех сил сжимала кулаки. Зато усталость исчезала как по волшебству, сменяясь ледяными мурашками. Эмилия Францевна бросала на зятя негодующие взгляды. А Чермен с улыбкой наблюдал, как его дочь с видимым удовольствием влезает в тёплый свитер...

Потом они ложились на диван, и наступал черёд жутковатых восточных сказок, которых Чермен знал великое множество. Злых дэвов он озвучивал хриплым басом, волшебниц-пэри – вкрадчивым баритоном, а за магрибского колдуна говорил свистящим шепотом. От сладкого ужаса Роза с головой ныряла под плед, прижимаясь к отцу, и всё чаще поглядывала на темный угол за диваном. – «Я думал, ты у меня уже большая, а ты до сих пор в сказки веришь!» – хохотал Чермен. Эмилия Францевна сердито выговаривала зятю: «Загнал ребёнка до полусмерти, она после твоих тренировок и так чуть живая, а ты её пугаешь ифритами всякими. Она от твоих сказок спать не будет, кошмары замучают!».

Кошмары Розе не снились, она спала как бревнышко. Чер-

мен весь вечер не спускал дочку с рук, позволяя заплетать из своих волос смешные косички, стоять на отцовском на животе ногами, разжимать каменно твёрдые кулаки, отдирая пальцы по одному – «Чур, не сгибать, которые уже отогнула!»

– Что ты с него не слезаешь, и не стыдно тебе? Отец всю неделю работал, устал, а ты с ногами на него взгромоздилась, как на диван, – ворчала Эмилия Францевна.

– Пап, ты устал? Тебе тяжело? – спрашивала Роза, сидя на отце верхом и обнимая его за шею.

– Это кто здесь устал? Я устал? – Ухватив дочку за ноги повыше щиколоток, Чермен поднимал её вверх на вытянутых руках. – Сейчас посмотрим, кто из нас устал!

Обмирая от страха, Роза стояла босыми ногами на папиных тёплых ладонях, цепляясь за низкие потолочные доски и с трудом удерживая равновесие. – Руки отпусти, потолок уронишь, – смеялся Чермен...

Роза обожала отца, и будь сегодня суббота, её бы ветром сдуло с улицы, но сегодня только понедельник, папы не будет целую неделю, и почему, собственно, ей не остаться?

– Ладно. Вы копайте, а я здесь посижу. Если кто по дороге пойдёт, я крикну, – Роза уселась на пыльную обочину и вставила в уши наушники новенького розового плеера. Шороха велосипедных шин она не услышала... Внезапный рывок – и выхваченный из её рук плеер взметнулся вверх и исчез. Роза тихо вскрикнула...

Алла с Аней её не услышали. Захваченные «сбором урожая», ползли на четвереньках каждая по своей грядке, скрытые от чужих глаз густым черёмушником.

– Я сумку нашла, совсем почти новую, только без ручек, – радостно объявила Алла.

– Это не сумка, а мешок. Будем картошку в него складывать. Ты молодец, – похвалила девочку Аня.

Когда они, розовые от непривычных усилий, выбрались на дорогу, волоча за собой мешок с картошкой, их ожидало достойное жалости зрелище. На дороге лежали три велосипеда, а Розу крепко держали за локти две «взрослых» девочки. Третья, голенастая невысокая девчонка лет пятнадцати, вертела в руках японский плеер и победно улыбалась. Ударить ногами, как учил отец, не получилось – девчонка стояла на безопасном расстоянии. Роза узнала Вику Пилипенко. Они приехали откуда-то с Украины, участок в «Красной калине» купили два года назад (его никто не покупал, вот и отдали «чужим»).

Насладившись победой, Вика велела отпустить пленницу. Подружки неохотно подчинились. Стояли, наблюдая, как Роза растирает затёкшие локти, и следили за каждым её движением, готовые схватить, скрутить, повалить на землю. Им по шестнадцать, а ей только одиннадцать. Их трое, а она одна. Аллочка с Аней не в счёт, они драться не умеют. С тремя Роза не справится...

– Отдай! Ну, отдай! – безнадежно повторяла Роза, сидя

на земле и вытирая слезы, а они всё бежали и бежали по щекам. – Я же не брала твою картошку! Меня папа за плеер убьёт, он мне его в подарок купил, за отличные оценки.

– Отличница, значит? Папа купил? Ну, значит, ещё один купит, – издевалась голенастая девчонка.

– Не купит. У нас таких не продают, он из Японии привёз. Вот приедет в субботу, что я ему скажу?

– Скажешь, что картошку нашу воровала.

– Вашу?

– А то чью же?! Вы что же, думали, она сама выросла? И не косите под малявок, большие уже, соображать должны, – Вика Пилипенко окинула взглядом Аллу с Аней, машинально державших мешок за концы. – И мешок наш пригодился!

– Я не копала! Я ничего не делала! Что я папе скажу? – рыдала Роза.

– А я своим родителям – что скажу? Они на Байкал уехали, отдыхать. Через месяц приедут, спросят – где картошка. Что я им скажу? Вы у нас пол-огорода выкопали... – голос у Вики дрогнул.

– Ну на, на! Забирай свою картошку. Мы же не знали, что она твоя, мы думали ничейная, – встряла Аллочка. Ей-то хорошо, у неё не отобрали плеер, и за картошку ей ничего не будет. Что с дурочки взять?

– Ага, забирай! Она не отцвела даже, а вы полмешка выкопали. Из него осенью четыре мешка бы выросло, – сварливо выговорила Вика, отбирая у Аллы мешок.

В голове у Розы стучали маленькие молоточки, их удары больно отдавались в ушах. Плеер был баснословно дорогим, она выпрашивала его у отца два года. И теперь занималась по два часа ежедневно (английский, французский, русский письменный и математика, по полчаса на предмет). Бабушка пробовала возражать:

– Зачем ей в каникулы заниматься, разве она плохо учится? На одни пятёрки, что вам ещё надо? – наступала Эмилия Францевна на дочь.

– Не переломится, – отмахнулась Инга. – Нечего её жалеть, ей ни в чём отказа нет, всё что попросит покупаем. Но не за так. Отец предупредил: будет хоть одна четвёрка, плеер заберёт.

Роза честно выполняла условие, в дневнике ни одной четвёрки. Но плеер у неё отобрали. Отец бы так не поступил, подарки назад не берут, он сам говорил, Роза бы напонила ему его слова. И вот – её сокровище, яркий малиновый плеер вертела в руках пятнадцатилетняя девчонка, и явно не собиралась отдавать. Розины умоляющие глаза встретились с Викиными – дерзко-насмешливыми, беспощадными. – «Нет» – сказали глаза. Поняв это, Роза заплакала ещё сильнее.

Не достигнув консенсуса, Аня с Аллой покинули «поле боя», ведя за руки плачущую Розу.

## Глава 3. Пилипенки

Территория СНТ (садовое некоммерческое товарищество) «Красная калина» вдавалась в лес длинным клином. Две грунтовые дороги, охватывая дачный массив с двух сторон, узко сходились в одну, ведущую к калитке в общей изгороди. Калитку, которая официально называлась запасной, калиновские шутники окрестили задним проходом (главный вход – с железными воротами, двухэтажным бревенчатым домом, в котором размещалось правление СНТ, и водоразборной установкой, которую неугомонные острословы прозвали поилкой, – находился на противоположном конце дачного массива). А участок Остапа Пилипенко прозвали треугольником, потому что он был угловым, последним. Участок был неудобным во всех смыслах: узкий, вытянутый, зажатый с двух сторон двумя дорогами. С третьей, широкой стороны, вплотную к «треугольнику» подступал пожарный пруд. По обеим улицам весь день проезжали машины, моталась на велосипедах ребятня, проходили люди, пробегали чьи-то собаки... Лай, крик, шум... Место было незавидным, а участок нестандартным – четыре сотки вместо положенных шести, поэтому его никто не хотел брать.

«Треугольник» продали с общего согласия членов СНТ. Новый хозяин, недолго думая, купил машину песка и брёвна на строительство – старые, серые от времени, источенные

жучком. – «Избушку-развалюшку разобрали да по дешёвке продали, а он, дурень, купил» – шептались калиновцы. Бревен оказалось только на две стены, о чём хозяину честно сказали нанятые им шабашники. Хозяин поскрёб в затылке, заплатил шабашникам «за беспокойство», прикинул предстоящие затраты... и неожиданно для всех отказался от участка и потребовал вернуть деньги (на которые председатель правления обещала уменьшить целевые взносы). Деньги пришлось отдать...

Через год на «треугольник» нашёлся новый покупатель. Песок к тому времени растащили по участкам. На брёвна, пролежавшие всю зиму под снегом, никто не позарился, как и на молодой осинник, который густо поднялся на бесхозном участке. – Как бамбук растёт, сплошняком, – смеялись калиновцы.

За год Пилипенки (так прозвали Викину семью калиновцы – коренные москвичи) обжились, дуже гарно (по выражению Остапа Пилипенко) отстроились и обзавелись справным (по его же выражению) хозяйством, поднятым, что называется, с нуля. На участке даже не провели раскорчёвку: с «треугольником» рабочие смухлевали, а калиновцы не настаивали: кому нужны четыре сотки между двух дорог, с комариным прудом по соседству...

«Це дило трэба разжуваты» – раздумчиво сказал Остап, глядя на заросший молодым осинником участок с беспорядочно раскиданными брёвнами, оставшимися от прежнего

владельца. Брёвна подгнили, почернели и, по мнению калиновцев, годились разве что в костёр. Остап, поплевав на ладони, взялся за топор и соорудил из них симпатичную баньку, с двумя окошками и покато́й крышей, над которой весело и густо дымила печная труба. «Банька-то на дровах, настоящая, русская! А у всех-то сауны, в них один жар, а духа никакого» – шептались калиновцы. И совсем уж неожиданным стал для них «пилипенкин» дом – добротный, крепкий, ладный, сложенный из пропитанных льняной олифой деревянных шпал. Где он такие достал? Их же не продают... Особенно необычно смотрелась мансарда с ломаной кровлей, один скат с изломом, а другой прямой. На все вопросы Остап улыбался и кивал головой, молчаливо соглашаясь – с вопросами. Где он научился строить бани, где купил новые, пахнущие свежим деревом шпалы, где нашел рабочих, за которым не нужен был догляд? Быстрые, ловкие, умелые, они построили этот необыкновенный дом за две недели. И дорожки проложили – из обломков каменных плиток, шероховатых, с рельефно выступающим рисунком.

И прудик выкопали – декоративный, с голубым эмалевым дном, на котором блестели белые камешки. Вика, дочка Остапа, привезла рыбок-вуалехвостов, которые обжились в прудике и плавали, распустив алые хвосты и поблёскивая золотыми боками. Очень красивые. Ухаживала за вуалехвостами Вика – меняла воду, насыпала корм, а раз в неделю, выловив сачком рыбок, отмывала прудик до блеска.

В свои пятнадцать лет Вика умела многое. Викина мама, Наталья Ивановна, появлялась на участке редко, через выходной: потому что она работала и жила, как она говорила, на два дома: у Марьи, Викиной неродной бабушки, сильно болели суставы (в чём Вика сильно сомневалась: ни постирать, ни приготовить, ни в магазин сходить Марья не могла, зато по комнатам летала ласточкой), а от Викиного дедушки, как говорила Наталья, толку как от козла молока, а грязи как от стада свиней. Вика никогда не называла Марью бабушкой, потому что она на двенадцать лет моложе Викиной мамы. Дедушкой Вика гордилась: он был художником, профессором кафедры реставрации монументальной и декоративной живописи. Тот есть, это раньше – был, а сейчас отошёл от дел, потому что ему стукнуло семьдесят. Забегая вперёд, скажу, что Иван Андреевич Мацковский, член-корреспондент Российской Академии художеств и Почётный член Московского союза художников, увидев Викины рисунки, радовался как мальчишка: нашей породы девчонка, Мацковских.

Наталья так непочтительно отзывалась об отце оттого, что когда-то он не позволил ей выйти замуж за любимого, сказал ему в лицо, что он лимита, деревенщина и его дочери не пара. «Деревенщина» оскорбления не простил, Наталье больше не звонил, и по слухам поступил в МИСИ (Московский инженерно-строительный институт) и женился на однокурснице. Учиться в Историко-архивном институте отец ей то-

же не позволил, топал ногами и кричал, что Наталья должна пойти по его стопам. Или Академия живописи, или – выметайся, скатертью дорога, живи как знаешь.

Иван Андреевич и думать не мог, что Наталья воспользуется его советом.

А она собрала чемодан и уехала не простившись. Далеко. На Кубань. Окончила сельскохозяйственный техникум (жить приходилось на стипендию, в тесном, крикливом и не всегда дружелюбном общежитии, и Наталье не хотелось об этом вспоминать), вышла замуж за Остапа, а через два года родилась Вика. Остап предложил пригласить к ним Натальиных родителей – «Поживут-погостят, на внучку поглядят, всё же родная кровь. Может, и помиритесь». Наталье мириться не хотелось. Обида не отпускала, не забывалась: на отца, за то что жизнь сломал, на мать – за то что не вступилась, молчала. На письмо, в котором она сообщала родителям о замужестве и приглашала на свадьбу, ответа не пришло. Больше Наталья им не писала. Через двенадцать лет отец прислал телеграмму: «Мать совсем плохая, зовёт, приезжайте».

В свой последний день Марианна Станиславовна была счастлива: она ждала дочь и внучку (приедут вечером, шестичасовым поездом) и не собиралась умирать. Ей стало легче, боль отпустила, и дышалось свободнее, и улыбка не сходила с лица. Надо Марье сказать, чтобы комнату им приготовила, да пирог испекла, Наталкин любимый, с антоновски-

ми яблоками...

– Марька! – Да где ж она... Ваня! – громко крикнула Марианна Станиславовна. Ей казалось, что она кричит...

Иван Андреевич склонился над её изголовьем, с трудом разбирая еле слышный шёпот:

– Мы перед Наталкой виноваты... И надо найти в себе мужество это признать, и попросить прощения... Она простит. Дочь же она нам! И будем жить все вместе, как раньше...

– Да, моя хорошая. Будем вместе, как раньше... Ты поспи пока. Как наши приедут, я тебя разбуджу.

Наши... какое хорошее слово! Марианна Станиславовна улыбнулась и закрыла глаза.

Так и умерла – со счастливой улыбкой на посветлевшем лице. Иван Андреевич всё пытался её разбудить, а она не просыпалась. Марька хотела его увести, но он не позволил. Обхватил голову ладонями и затрясся в беззвучных рыданиях.

\* \* \*

Наталья стояла у гроба, тщетно пытаясь понять, что творилось в её душе. Слез не было, только давящая тяжесть в груди. Вика прятала в карманах красные от холода кулаки, постукивала друг о дружку заледеневшими ногами и ждала, когда всё закончится и они поедут домой. Она не горевала по бабушке, которую не знала и которой была не нужна. А бабушкин муж, знаменитый московский художник-реставратор, приходится ей родным дедушкой, и она на него

похожа, Вика видела у мамы его фотографию. Вот же чудеса! Забывшись, Вика рассмеялась, и Наталья дёрнула её за рукав. Скорей бы домой, за поминальный стол, тоскливо думала Вика. Ей было холодно и уже давно хотелось есть.

Иван Андреевич на негнувшихся ногах подошел к могиле. Неловко нагнувшись, захватил горсть холодной, замороженной глины и долго разминал её сильными пальцами, словно это могло помочь, словно от этого его жене станет легче – там, где она сейчас находилась, где обитала её душа. Все молчаливо ждали. Наконец он бросил на гроб мёрзлую землю, хотел сказать – «земля тебе пухом...» и не смог. Бормоча что-то несвязное, опустился на землю.

– Плохо... ему же плохо! Да помогите же! Поднимите его! – заговорили все разом, Ивана Андреевича подхватили под руки и повели в автобус. Бледный до синевы, он гладил рукой левую сторону груди и повторял беспрестанно: «Прости меня, Аня, прости дурака старого. Как жить теперь, без тебя?» Вика не понимала, за что он просил прощения. За то, что не умер вместе с бабушкой?

Остап мял в руках конверт. В конверте лежало письмо, которое мать написала Наталье год назад и которое Иван Андреевич отдал ему на кладбище, избегая смотреть зятю в глаза. – «Не хотели вас с места срывать. Сами справлялись худо-бедно, да и Марьюшка помогала, чем могла, да сестра патронажная приходила. Мать-то парализовало у нас, два года пластом лежала, теперь вот прибрал господь» – бормо-

тал Иван Андреевич, старательно изображая убитого горем вдовца. Остап ему не поверил: соцработница, которую Остап ласково звал Марьюшкой, вела себя в доме по-хозяйски, громкогласно распорядилась на кухне, рассаживала гостей за поминальным столом, бегала к соседям за стульями, которых не хватило. Порхала ласточкой, – метко определил Остап. А ещё подумал, что свято место пусто не бывает...

Усадить всех за поминальный стол не получилось, и поминки справляли в два приёма. – «Как в санатории, в две смены» – хохотнула Марьюшка и спохватившись зажала рот рукой, сделала вид, что закашлялась. Чужое горе её не коснулось, чужие родственники ей не нужны, принесла их нелёгкая... Но куда же денешься, положение обязывает: заботливо усадила за стол, подсунула хлебницу, подносила тарелки с поминальной кутьёй, закусками и холодцом. Набросила Вике на плечи пуховый платок, пробормотала, чтобы все слышали – «Девчонка на кладбище замерзла, аж заостенела вся, а родителям хоть бы хны...». Улыбалась ласково. И смотрела – недобрыми глазами. Глаза были честными, забота – фальшивой.

Иван Андреевич не знал, о чём думает его внучка. Смотрел на её нахмуренные брови (его брови, дедовы!), капризно изогнутые губы (Натальины!) и радовался – наша порода, Мацковских! Про себя он уже решил: как бы там ни повернулось, внучку он от себя не отпустит. Вика останется в Москве, окончит школу и будет учиться в Академии худо-

жеств. Вину перед дочерью уже не искупить, но он сделает всё для этой незнакомой красивой девочки, которая – вот же чудеса! – его родная внучка, родная кровь.

Завернувшись в пуховый платок и простуженно шмыгая носом, Вика уплетала холодец, заедая его ноздреватым ржаным хлебом, который она – под одобрительным взглядом деда – густо намазала хреном. У них на Кубани чёрного хлеба не пекут, только пшеничный, а ржаного Вика никогда не ела. И сейчас наслаждалась незнакомым кисловатым вкусом, замечая украдчивые взгляды своего деда, который Вике сразу понравился. А первое впечатление самое верное.

Только что-то с ним не так... Ничего не ест, сидит прямой как палка, уставясь невидящими глазами в стол и опрокидывая стопку за стопкой. А мама говорила, что он непьющий.

Вечером Ивана Андреевича увезла «скорая». Соцработница Марья, которая, как оказалось, вовсе не была соцработницей, уехала вместе с ним, бросив на ходу Наталье: «Я с ним поеду, а вы ложитесь, отдохайте, я и комнату вам приготовила, и постели постелила. Замёрзнете – там одеяла в комоде. Девчонку потеплее оденьте, заколела она на ветру, в курточке да в кроссовках, скукожилась вся. Мороз нонче нешуточный, а она у вас одета как зря»

Наталью от её слов покорибило. Сказано вроде – ласково, заботливо, а ненависть наружу вылезла, обожгла. Укрывая Вику вторым одеялом, вспоминала Марьины слова. Получается, она свою дочь не жалеет, а Марья – пожалела. Всё навы-

ворот получается. И гости эти... Смотрели на них с Остапом, как на зверей в зоопарке. Сколько лет о родителях не вспоминали, теперь вот примчались, наследство делить, – читалось в их глазах. Наталье хотелось сказать, что это не так. Но что она могла? – жизнь свою рассказать-пересказать? Зачем им её жизнь, они уже сделали выводы, они все равно ей не поверят.

Наталье было неуютно под настороженно-цепкими взглядами, неловко от Марьиной показной заботы, от её слащавого благодушия. Кто она такая, по какому праву распоряжается в доме её отца? В её, Натальином, доме!

Как выяснилось позже, Марья была натурщицей и по-совместительству домработницей. И любовницей – по совместительству. И с этим уже ничего нельзя было сделать и ничего нельзя изменить.

\* \* \*

...Когда Наталья прочитала материное письмо, у неё помутилось в глазах. Мать писала, что сильно болеет, не встаёт, что продукты им покупает соцработница, но только самые необходимые, по утверждённому списку. Пиво и сигареты в список не входят, а отец без них не может, и приходится ей доплачивать, и ещё за мытьё полов, и за уборку. «Иван, как с кафедры его попросили, умом тронулся, всё лепит, ваяет, а Марья за бесплатно соринку с пола не подымет. Умереть бы поскорее, что ли, – заканчивала письмо мать. – Доченька, ты уж прости нас и приезжай, все трое приезжайте, иначе

останешься сиротой, мы долго-то не протянем. Отец-то покаялся, признал, что не прав был с тобой, судьбу тебе сломал. Внучку бы, говорит, увидеть напоследок. Ему недолго осталось, до ста лет люди не живут»

У Натальи дрожали руки, строчки прыгали перед глазами, а в голове словно плескался кипяток. Оставить отца одного она не сможет, Остап уедет домой, на Кубань, а они с Викторией останутся. Что ж у неё за судьба такая! Смолоду жить не позволили, как хотелось, теперь вот – сама себе не простит, если уедет. Сердце разрывалось между двумя родными людьми, не в силах принять решение. Бросить отца на произвол судьбы, на попечение натурщицы? Бросить дом, хозяйство, попрощаться навсегда с родной станицей, разрушить уютный, привычный мир, в котором она счастлива, в котором её ценят и любят? Как же она – без Остапа? Как же теперь жить?

Как же теперь жить...

\* \* \*

«Тронувшийся умом» академик оказался вовсе не так плох здоровьем, как писала Наталье мать. Наталья подозревала, что письмо, от которого у неё в лёгких словно кончился воздух, а вздохнуть не получалось, – письмо они сочиняли вдвоём с отцом, старательно сгущая краски. Патронажная медсестра и приходящая соцработница оказались правдой, всё же остальное – чистой воды выдумка. Пенсию Иван Андреевич получал персональную, академическую, с надбавками, льготами и ежегодными бесплатными путевками в Кис-

ловодск. Да и на кафедре реставрации вел приём, раз в неделю, в качестве консультанта. Жили Мацковские безбедно. Просто соскучились по дочке и по внучке и снова повернули её жизнь на сто восемьдесят градусов, они умели это делать. Если бы не смерть матери, она бы ни за что здесь не осталась. Но допустить, чтобы эта проститутка Марья прибрала к рукам квартиру её родителей... её, Натальину квартиру! – допустить такого Наталья не могла. С Остапом они проговорили полночи...

Вика впервые в жизни оказалась в Москве. Квартира на Фрунзенской набережной впечатляла: четыре комнаты, две лоджии, просторная прихожая, вместительная кухня-столовая. И вид на город с двенадцатого этажа! Она обязательно напишет – этот вид. Сначала в карандаше, а потом...

– О чём задумалась, внучка? – прервал её размышления дед. – Нам с тобой вместе думать надо. Родителям твоим втолковать, чтоб меня одного не оставили... Ты-то меня не бросишь? Ты у меня одна, больше внуков нет. Умру, всё тебе оставлю...

На его губы легла прохладная ладонь, лица невесомым теплом коснулось Викино дыхание, вкусно-ананасовое – оттого что Вика жевала резинку. Иван Андреевич обмер... Получается, внучка его приняла, значит, Наташка не настраивала девочку против деда, не рассказывала ей ни о чём. А он-то, старый дурак, думал про неё всякое... Иван Андреевич

издал горлом сиплый звук и обнял внучку.

– Не надо умирать, Иван Андреевич... то есть, дедушка. Мне ничего не надо, я просто так с тобой останусь.

\* \* \*

Наталья боялась зря: Остап легко согласился продать дом, под залог которого, как оказалось, был взят банковский кредит, а отдавать было нечем. Продажа дома решала проблему, да и жизнь на Кубани становилась всё труднее, всё дороже. За удобрения плати, за вспашку плати, за землю свою собственную – плати, а цены непомерные. Варнаки огород потопчут, парники разорят, яблони обломают – на них милиции нет, управы нет. Вырастил урожай – опять плати, иначе не разрешат продавать. Лицензия – называется. Купи её и торгуй на здоровье. А и продашь за копейки...

Десятилетнюю Вику уговаривать не пришлось. В Москву перебрались втроём.

Наталья думала, что с её появлением в отцовском доме Марья соберет манатки и исчезнет. Но она осталась. Иван Андреевич в первый же день в присутствии дочери и зятя очертил границы: они с Марьей семья, как Наталья с Остапом. – «Квартира моя, здесь твоего ничего нет, сама от нас с матерью сбежала, никто не гнал. Ты, дочка, об этом не забывай. А забудешь, так я напомню. Марью обижать не смей, она здесь хозяйкой была и останется. Комната у вас большая, всем места хватит, денег с дочки родной я не возьму, живите. А табачок врозь, и делить нам нечего».

Наталья молча кусала губы. Ничего. Ещё посмотрим, кто здесь хозяйка. Время изменится, всё переменится...

Не переменялось. В «большой» комнате они прожили четыре года. Вике исполнилось четырнадцать, а она по-прежнему спала за занавеской, готовила уроки за обеденным столом, стеснялась раздеваться при отце и бегала переодеваться в ванную.

...Вика мечтала о собственной комнате, но их поселили в одной, всех троих. Комната была с отдельным входом, изолированная, как сказала мама. Незнакомое, колючее слово «изолированная» Вика понимала по-своему: их изолировали, отделили, указали их место. Впрочем, рисовать ей разрешили в зале – проходной комнате, из которой вели двери в библиотеку и дедушкину спальню. Вика согласна была жить в библиотеке, но Иван Андреевич не предлагал, а просить его об этом Наталья Ивановна запретила дочери строго-настрого. Вика выросла в станице, в просторном доме, где всё было общее – папино, мамино и её, Викино, где можно входить в любую комнату, не спрашивая разрешения, где никто не скажет тебе: «Здесь твоего ничего нет»— И теперь искренне удивлялась, зачем деду одному столько комнат?

А удивляться было чему. Марья Семёновна, которую дед отрекомендовал как помощницу по хозяйству, осталась у них ночевать, и вообще осталась в доме. Гражданская жена, так это называлось официально. А неофициально... нет, повторить Натальины слова я не возьмусь. Опустим это. Марья

надеялась, что гражданский брак станет законным, заговаривала об этом с Иваном Андреевичем, но тот каждый раз ласково возражал: «Разве мы с тобой не семья? Разве я тебя не люблю? Штамп в паспорте ей понадобился, вот поди ж ты... У меня ближе тебя никого нет, ты ведь знаешь...»

## Глава 4. Марька

В семье Кармановых было пятеро детей, и все – мальчишки. Односельчане завидовали, а Семёну хотелось – девочку, светловолосого ангела с розовыми губками и ямочками на щеках. Он так долго её ждал, он даже имя ей придумал – Марьяна, Марианна. А Настасья не хотела её рожать. – Пятеро на одной картошке сидят, конфеты по большим праздникам видят, обутки-одежки друг за дружкой донашивают, не накупишься – на пятерых. Куда ж ещё шестую рожать?:

Семён умолял, Настасья отказывалась, травки тайком пила, мужа до себя допускала не часто, с оглядкой на «грешные» дни. И бог её услышал. И наказал: после двух выкидышей Настасья не беременела четыре года. А всего, выходит, шесть. Семён поскучнел, молчаливым стал, сыновей с малых лет в работу запряг, не жалел, ровно чужие они ему. От жены морду воротил, в глаза не глядел. Не простил. А раньше любил, оторваться от меня не мог, и смотрел всегда ласково, – тоскливо думала Настасья и винила во всём себя: что ей стоило уступить? Где пятеро, там и шестой место найдётся. А девочка подрастёт, помощницей станет, одной-то тяжело на шестерых мужиков стирать-готовить...

– Сёма! Что ты как неродной, не посмотришь, не обнимешь... Я уж и забыла, как муж обнимает...

Жизнь толкнулась под сердцем, когда Настасья уже пере-

стала надеяться. Ей бы радоваться, а она испугалась:

– Шесть лет у нас детки не рождались. Я в глаза тебе смотреть не могла, бога молить устала... А бог молчит, не слышит. Я грешным делом и подумала – если бог не помогает, кого ж тогда просить-то? Подумала, будь ты хоть дьявол, только пошли мне ребёночка. Девочку. И вот – послал. Бабы говорят, знак нехороший. Говорят, нельзя плод оставлять, выгравить надо. Страшно мне, Сёма. Бабы ить зря говорить не станут.

– У всех бабы как бабы, а мне дура досталась! – Семён изругался по-чёрному и, опомнившись, обнял жену, прижался лицом к её животу и выговорил не своим голосом: «Марюшка моя... Батька тебя ждать будет, уж ты не подведи, как срок настанет. А мамку свою не слушай, она тебе наговорит...»

Настасья подумала и решила: так тому и быть.

Роды были тяжёлыми. Настасья мучилась трое суток. Персонал районной больницы сбивался с ног и не спал вместе с ней. Семён, отъявленный матерщинник и богохульник, притащил в районную больницу икону и, не зная никаких молитв, повторял как заведённый: «Ты это... Извиняй, ежели обидел чем. Прощенья просим. Только не дай Насте моей умереть, мальчишек моих не сироть, и дочечку сохрани. Карманову Марьяну... Ты на меня глазами-то не сверкай! – забывшись, переходил на привычный тон Семён. Спыхватившись, бормотал «прощенья просим» и вглядывался в глаза

святого, ища поддержки, которой ему больше не у кого было просить.

В положенный срок родилась девочка – некрасивая, большеватая, ноги в растопырку, волосы цвета печной сажи. И в кого ж ты такая уродилась, сокрушалась Настасья. Карманов-старший дочку обожал.

Первым Марькиным воспоминанием были руки отца, подбрасывавшие её к низкому избяному потолку – Марьке казалось, до самого неба. Испугаться она не успевала, Семён подхватывал дочку на лету и целовал в пухлую щеку: «Марька ты моя! Дочечка моя единственная, радость моя последняя...» В отцовских глазах светилась любовь, и Марька словно плыла в этой любви, чувствуя детским слабым тельцем её тёплые ласковые волны. Глаза отца излучали тепло, материнские – смотрели равнодушно.

Кармановы впрягли сыновей в семейный воз, едва они научились ходить. Семён колол дрова – дети собирали щепки. Семён окучивал лошадю картошку – мальчишки по очереди держались за повод. Ещё они собирали и жгли в костре колорадского жука, мыли в избе полы, под водительством старшего брата Мирона ходили в лес за ягодами и орехами.

А когда подросли, таскали от колодца вёдра с водой, вычищали коровник, а навоз складывали за сараем, смешивая его с рубленой соломой. Ещё они ездили с отцом на сенокос, пилили дрова, учились управляться с молотком и рубанком. Нарастив упругие мускулы, Кармановы-младшие спо-

ро справлялись с работой и вечером, получив вождеденную свободу, дотемна пропадали на речке.

Марье тоже хотелось на речку, но мать не пускала: мала ещё, а ребята устали, им не до неё, не уследят, утопнет девочка, а мне перед Семёном ответ держать.. Да он убьёт – за Марьку свою, с него станется. Нет, дочка, сиди-ка ты дома. А коли нечем заняться, так я тебе работу найду.

И находила. Девочку не заставляли носить из колодца воду и выгребать из коровника навоз – для этого в доме были братья. Марька прореживала молодую морковь, пропалывала грядки, аккуратно складывая обочь огорода вырванную с корнем траву и колючие стебли осота; усевшись на перевернутое ведро и набросив на плечи отцовскую телогрейку, перебирала в подполе картошку. Ещё помогала Настасье по дому. Сидеть без дела было скучно, работа была не тяжёлой, а мать не скупилась на похвалу и называла доченькой, ласточкой, солнышком, а отец привёз ей из города красивую куклу в нарядном платье. Марька стащила с куклы платье, долго его разглядывала и сообщила отцу, что сошьёт себе такое же.

В четыре года Марька научилась вязать носки и варежки, в шесть – работала в огороде наравне с матерью, в семь – мыла в избе полы, избавив от этой работы братьев. В восемь лет девочка умела разжигать в печи огонь, закрывать вовремя вьюшку, варить зелёные щи из крапивы, которую мелко рубила сечкой, и жарить яичницу на восьмерых, разбивая в сковороду семнадцать яиц: отцу четыре, Настасье с сыновья-

ми по два, и одно для неё, Марьки. Впрочем, яичница была в их доме редким блюдом, яйца шли на продажу.

Усевшись на тёплые доски крыльца, Марька пришивала пуговицы на чью-то рубашку (почему они всегда отрываются?), поглядывая время от времени на Мирона, который обтёсывал топором еловые колья. Колья блестели на солнце желтыми стёсами и сладко пахли еловой смолкой, топор в сильных руках Мирона мелькал лёгким пёрышком, и девочка залюбовалась братом. Мирон отложил топор, смахнул со лба крупные капли пота, подошёл к дождевой бочке и, зачерпнув пригоршню воды, жадно выпил.

Марька видела, что брату тяжело, но всё равно завидовала: он и на сенокос с отцом ездит, и в лес, и на речку. А она... Она согласилась бы обтёсывать сырые тяжёлые колья, только бы не драить чугунок и сковородки, полоть ненавистные грядки и пришивать эти проклятые пуговицы, которые всё время отрываются...

Мирон устал, а топор тяжёлый, а колья сырые, неподатливые. Но ведь они когда-нибудь кончатся, и Мирон будет косить на луговине пахучую траву, смётывать сено в стога, ловить с отцом щук в омутах, которыми славилась их тихая с виду речка с вкусно-ласковым именем – Молокча. Колья когда-нибудь кончатся, и будет что-нибудь другое. А домашние дела всегда одни и те же и никогда не кончаются...

– Я в толк не возьму, ты рубашку чинишь или в небо смотришь? – выдернул её из раздумий голос матери. Марька дав-

но привыкла, что мать всё время её подгоняет. И неприметно вздохнула, уткнувшись в шитьё. После школы она до вечера крутилась по дому, эта работа не тяжёлая, но от неё всё равно устаёшь...

О том, что Марька тоже уставала, Настасья не думала. Не лежала душа к девчонке, которую Семён любил больше, чем жену – богом данную, единственную. Теперь вот она, Марька, единственная. Толстопятая, толстогубая, и ходит в растопырку. Послал бог подарочек...

– Ма! Мальчишки на речку пошли, я с ними хочу, – обиженно заявлял «подарочек».

– Кака тебе речка? Там в речке омуты глубокие, а в них водяной живёт, – пугала Марьку мать. – Иди со мной картоху чистить. Вдвоём-то многонько начистим... Я тебя научу кожуру стружечкой снимать, колечком завитой. Хочешь?

– Хочу, – обречённо отзывалась Марька, понимая, что речки ей не видать.

Потом, когда подросла, переделав домашние дела, убежала на речку без спроса, и Настасья махнула на неё рукой...

Марьке исполнилось девять, когда женился Мирон, старший из сыновей Кармановых. Жили молодые через улицу от них, как здесь говорили, на другом порядке. Через год у них родилась девочка, Анна Мироновна Карманова, светловолосый ангел с розовыми губками и ямочками на пухлых щёчках. А ещё через два года Зоя, жена Мирона, отдала девочку в садик, а сама вышла на работу.

Из садика Аню пришлось забрать: девочка без конца простужалась, даже когда на улице стояла жара. Зоины родители работали, не могли за ней смотреть, и девочка оставалась одна на весь день, Зоя с матерью по очереди прибегали её покормить и переодеть в сухое.

– Не плачет она одна-то? – спрашивала сына Настасья, которой муж запретил бегать по десять раз на дню к Мирону и докучать молодым.

– Плачет, как не плакать. страшно ей одной-то. Приходим – она радуется, уходим – плачет, – честно ответил Мирон. – Зато хоть болеть перестала, а раньше-то из хворей не вылезала, кашляла без конца... Хотя не болеет теперь, – тоскливо повторил Мирон, которому жаль было маленькую дочку, а что делать?

И Настасья не выдержала. Сказала мужу, что ей плевать на его запреты, что она скорее даст на куски себя порезать, чем знать, что внучка в доме одна-одинёшенька, криком заходится, и никому дела нет. Семёну ничего не оставалось, как согласиться с женой.

Настасья разругалась в дым с председателем совхоза и днями пропадала «на другом порядке», свалив домашние дела на двенадцатилетние Марькины плечи. В довершение ко всему, девочке поручили дневную дойку коровы. На «большой» перемене, на которую в поселковой школе отводилось сорок минут – пусть набегаются и наорутся всласть, рассудил директор, – вся школа высыпала на школьный двор иг-

рать в волейбол, вышибалы и верёвочку. А Марька бежала домой, за подойником, а потом через луг, на берег Молокчи, где в полдень отдыхало стадо. Молока набиралось полведра, но всё равно тяжело, тем более если идёшь через луг мелкими торопливыми шажками, страшаь угодить ногой в ямку и уронить ведро.

Процедив молоко через сложенную вчетверо марлю, Марья ставила банку в подпол, мыла подойник, вешала на верёвку наспех выполосканную марлю и бежала в школу. На урок она не опаздывала и о том, что бегают доить корову, никому не рассказывала. Но в классе всё равно узнали. К Марьке прилипло обидное прозвище «Марька-доярка», которое отравило ей жизнь и школьные воспоминания.

Дома Марьку хвалили, называли молодцом и умницей и говорили, что ей можно доверить хозяйство и что она не подведёт. В семье Кармановых у каждого из ребят были посильные обязанности, большой семье иначе не прожить, зарплата в совхозе никакая, кормились огородом, продавая хозяйственные излишки и покупая на вырученные деньги «горонской» товар.

Марька радовалась, что она «молодец и умница», и готова была свернуть горы, лишь бы её похвалили. Хвалят – значит, любят. Ей хватало этой толики любви: брошенных вскользь слов одобрения, тёплой маминой руки, обнимающей плечи, убирающей под косынку выбившуюся прядку волос, вытирающей тыльной стороной ладони перепачканные в муке дет-

ские щёки: «Ты ж моя золотая, ты ж моя помощница... Устала? Ничего, глаза боятся, а руки делают... Скоро закончим, в печь поставим, ужинать пирогами будем. Без тебя я бы ни-почём не справилась...»

А время шло. Маленькая Анечка, которую Мирон с женой отдали на попечение Настасьи, смешно ковыляла по двору, шлёпалась на пухлую попку и поднимала отчаянный рёв. Настасья подхватывала её на руки, Семён немедленно отбирал: «Дай-кось, я сам». С появлением внучки он словно помолодел: расправились плечи, заблестели глаза. Сбылась его давняя мечта, светловолосый ангел с розовыми лепестками губ.

У отца появилась новая любимица, с горечью думала Марька. Став старше, она смогла сформулировать запавшую в подсознание мысль: её перестали любить. Она больше не младшая, не единственная, не обожаемая. Нянька, помощница, прислуга. А куда деваться?

Так продолжалось всю жизнь, всё детство: огород—школа—дом—огород. Училась Марья кое-как, и родители ставили ей в пример Анечку: умница-разумница, в школу с шести лет пошла, одни пятёрки домой таскает, учительница не нахвалится... И рисует лучше всех в классе, и в танцевальном кружке занимается.

Повезло Анечке: и умная она, и красивая, и все её любят — Анечкина мама, и Мирон, и Марькина мама, и Марькин папа... А она, Марька, не успевает по всем предметам, и бес-толковая, и уроки готовить некогда. О беготне с ребятами и

вечерних посиделках за совхозной ригой можно не мечтать: всё равно не отпустят. Скажут, учи лучше уроки, а на улице пусть бегают те, кому дома делать нечего. Близких друзей, с которыми можно поделиться, у Марьки нет, и парня тоже нет. У всех девчонок есть, а у неё нет. А ведь ей уже пятнадцать.

Не разрешают – ни друзей, ни парней, отец убьёт, если увидит с кем, он сам ей сказал. Родителям она нужна лишь как помощница. Работница. Батрачка. А больше ни для чего не нужна. А Анька закончит школу и поступит в институт, учиться на художника. Потому что у неё талант. Так Мирон сказал.

А у неё, Марьки? Может быть, у неё тоже талант? Надо проверить... Марька тайком взяла у сестры акварельные краски и, пролистав её альбом (учительница не врала, Анька рисовала красиво), аккуратно вырвала два листа.

Уединившись на чердаке, Марька попробовала нарисовать их дом, с раскидистой яблоней у крыльца, жёлтым нарядным штакетником и бегущей к сараю тропинкой. Краска «не слушалась», срывалась с кисточки, брызгалась и не хотела сохнуть, оставляя на листе мокрые озерца. Марька старательно вымакивала озерца найденной в углу ветошью, но всё равно выходило плохо.

Забор вообще не получился, штакетины слились в грязно-коричневую полоску, а вместо дома вышло что-то сомнительное. Даже рисовать у неё не получается! Даже рисовать

у неё не получается! А у Аньки получается – и учиться, и рисовать, и танцевать...

Обтерев ветошью вымазанные в краске руки, Марька всласть наплакалась на чердаке...

## Глава 5. Исполнение желаний

Марья любила торчать в гостиной, наблюдая за Викторией, когда та рисовала. Вика терпеть не могла, когда стояли у неё за спиной, но Марья не спрашивала разрешения,. Хотя бы молчала, с досадой думала Вика... Но Марья не молчала, комментируя каждый штрих карандаша, каждый мазок кистью. Мало того, она пыталась её учить:

– Здесь надо синенького чуток добавить, а то бледно очень... А вот там красненьким мазни! Ты рот-то не криви, я дело говорю.

– Синенькие – это баклажаны, – фыркала Вика.– А синий цвет бывает индиго, кобальтовый, ультрамарин... А красного и правда надо добавить, терракоты или имбирного... Или лучше жжёной сиены, ты как думаешь?

– Всё шуточки шутишь, насмешница... Жжёная гиена, это кто ж такое придумал? Красный цвет он и есть красный. Рыжий-красный человек опасный, слыхала такое?

Потеряв терпение, Вика бросала кисть и, обернув к Марье пылающее от гнева лицо, говорила сквозь зубы:

– Да уйдёшь ты когда-нибудь? Ты мне мешаешь. И вообще, ты меня достала!

Марья, с которой они давно перешли на ты, не обижалась. Это её стараниями дед уступил внучке библиотеку. Книжные шкафы перекочевали в гостиную, а комнату отдали Ви-

ке. Книг оказалось неожиданно много, их переносили весь вечер, распределяли по шкафам, переставляли, передвигали, вынимали и ставили снова... Дед вздыхал и ворчал, что потом ничего не найдёшь. Марья забрала себе кресло в стиле ампир и журнальный столик, милостиво оставив Вике стулья, сиротливо стоящие вдоль голых стен. Остап перетащил в бывшую библиотеку Викину кушетку, этажерку и комод. Письменный стол он обещал купить потом.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.